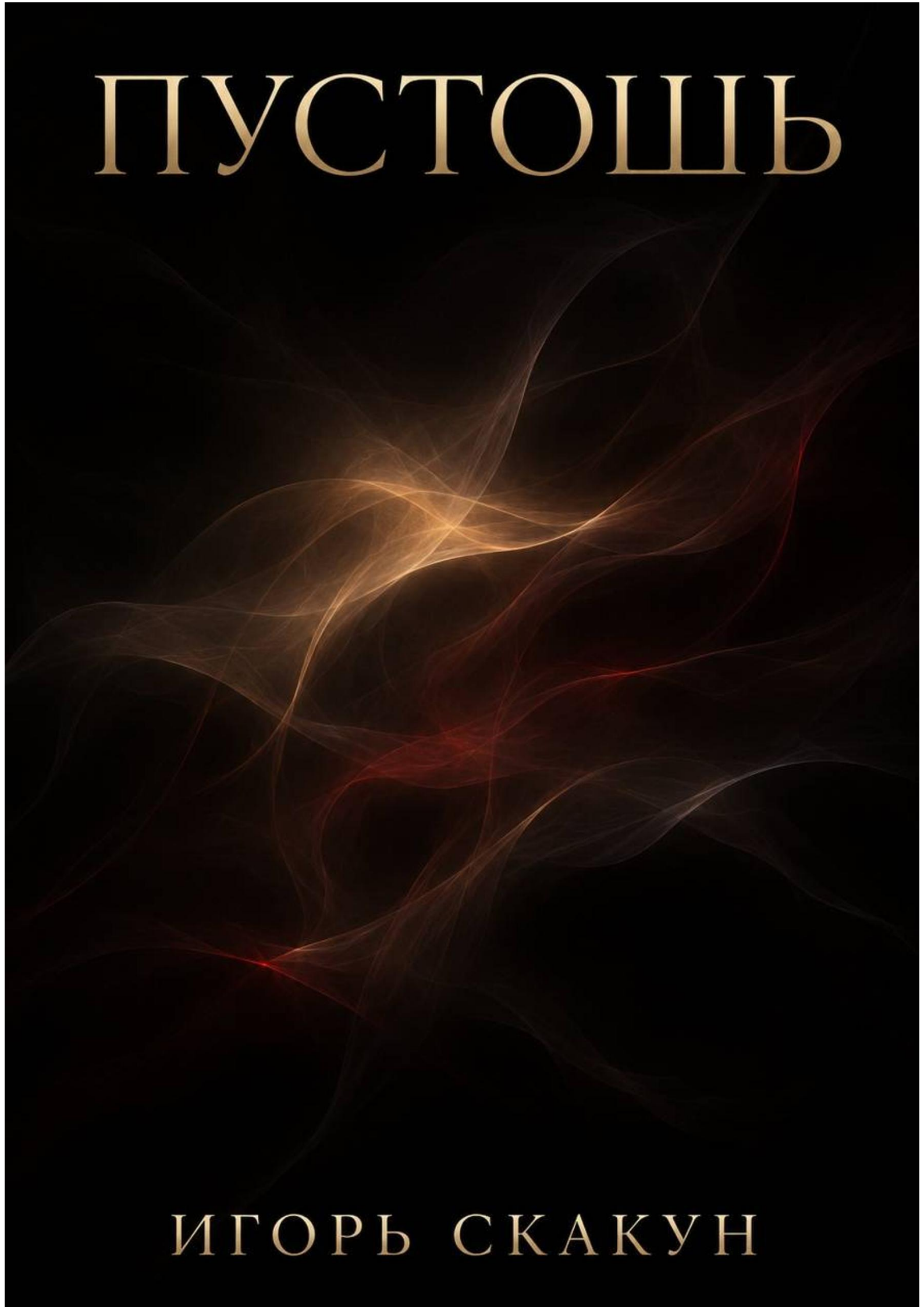
# ПУСТОШЬ



ИГОРЬ СКАКУН

Игорь Скакун

# Пустошь.

«Автор»
2026

**Скакун И. В.**

Пустошь. / И. В. Скакун — «Автор», 2026

После смерти душа оказывается в Пустоши: без тела, света и возможности обратиться к другим. Боль всех пронзает каждого, заставляя осознать предательство себя и Создателя. Новое воплощение даёт ещё один путь. Арсений помнит, кто он и откуда пришёл, но память не защищает от ошибок. Среди множества ложных дорог ему предстоит различить единственную верную — в любви, страхе, гордости и обычных человеческих поступках. Сможет ли он всё-таки прожить иначе, если даже добро становится соблазном?

© Скакун И. В., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1. Без последнего вздоха 6
Глава 2. Слишком старый взгляд 9
Конец ознакомительного фрагмента. 11

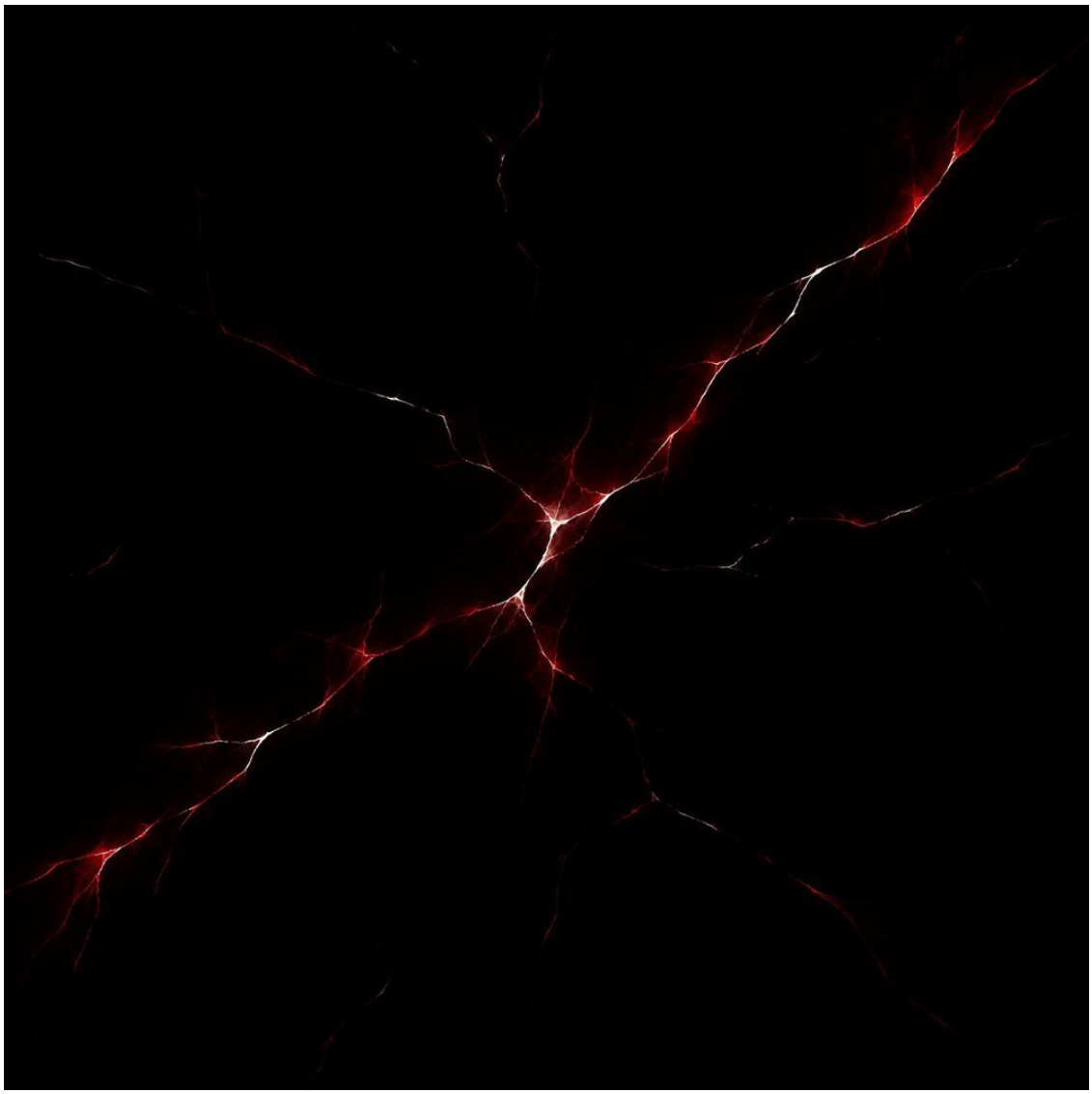
# Игорь Скакун
# Пустошь.

Философская фантастическая повесть

Создано совместно с нейросетью МИР.

Эта повесть — художественный вымысел. Представления о душе, Создателе и посмертии составляют мир произведения.

# Глава 1. Без последнего вздоха



Я ждал, что темнота кончится.

При жизни любая темнота имела предел. Можно было нащупать стену, закрыть веки, услышать собственное дыхание. Даже в глухой комнате оставался стук сердца. Теперь сердца не было, а ожидание продолжалось.

Не существовало ни стены, ни комнаты. Нечем было закрыть глаза. Я не висел, не падал, не плыл. У этих слов имелось отношение к телу, а тела больше не было.

Я знал, что умер.

И помнил, откуда пришёл.

В земной жизни я умел заслонять эту память множеством нужных вещей. Утренней спешкой, раздражением, торгом, хорошими новостями. Мог произнести имя Создателя и в ту же минуту поступить так, будто Он не имел ко мне отношения. Знание оставалось, однако я обращался с ним как с письмом, которое давно получил и не собирался перечитывать.

Теперь нечем было заняться вместо этого.

Я попытался крикнуть. Намерение крика возникло целиком, со всей прежней привычкой втянуть воздух и напрячь горло. Оно осталось во мне. Никакого звука не появилось.

Тишина не нарушилась и тогда, когда пришла боль.

У неё не было места. Она не начиналась под рёбрами и не отдавала в виски. Она сразу была всем, чем я ещё оставался. Боль, не допускавшая обморока, потому что потерять сознание означало бы на время перестать быть собой, а здесь этого не происходило.

Я чувствовал: мучаюсь не один. Чужая боль пронзала меня, моя входила в общее страдание. Но рядом не было никого, к кому можно было обратиться. Ни голоса, ни мысли, предназначенной мне. Боль ничего не рассказывала о тех, кому принадлежала. Я не узнавал их имён и жизней. Только её неисчислимость.

Попытка послать кому-нибудь хоть что-нибудь оказалась такой же бесплодной, как крик.

Я был среди всех и совершенно один.

Потом началась память.

Я увидел стол — не перед собой, а внутри пережитого. Светлое дерево, круг от стакана, собственную руку на задвижке папки. Человек напротив просил открыть проезд. Вода прибывала; на другом берегу оставались люди. Я помнил его грязный рукав и то, как меня раздражало, что он положил этот рукав на мой стол.

При жизни эту историю я рассказывал иначе.

Переправа была частной. Опоры требовали осмотра. Нам предстояло сохранить имущество, чтобы после спада воды восстановить движение. Я не мог отвечать за каждого, кто решил остаться в низине. В конце концов, существовали службы, которым за это платили.

В Пустоши я помнил и другое: заключение осмотра лежало передо мной, переправа выдерживала людей. Машины действительно пускать было нельзя. Пеших — можно. Но если открыть ворота, придётся открыть их всем, а за оградой находились склад и новый дом. Я боялся чужих мокрых ног в своём благополучии.

И придумал слово «ответственность», чтобы не произносить слово «страх».

Стол исчез из памяти. Осталось выражение лица человека, когда он понял, что я не открою.

Я не мог теперь ощутить его мысли. Для мучения хватало того, что я сам тогда заметил и поспешил забыть.

За этим воспоминанием пришло следующее. Женщина, чью подпись я получил обманом. Мальчик, которого выставил за дверь, потому что его присутствие могло испортить важный разговор. Сотрудник, принявший на себя мою ошибку. Ничто из этого не казалось мне при жизни достаточной причиной считать себя дурным человеком.

Я вспоминал и хорошее. Лекарства, купленные чужой матери. Ночь возле больного сына. Верность другу. Мне хотелось положить всё это на другую чашу, дождаться равновесия и получить освобождение.

Но весов не было.

Добро, которое я сделал, оставалось добром. Оно никого не выкупало из последствий другого моего поступка. Я не мог использовать одну спасённую боль как разрешение причинить следующую.

Очень долго — если здесь вообще существовало долго — я искал того, кто меня судит. Хотел увидеть обвинителя. Потребовать учесть обстоятельства. Объяснить, что у каждого есть семья, что жизнь сложна, что нельзя быть святым среди людей, устроенных подобным образом.

Никто не отвечал.

Я слышал бы и обвинение с благодарностью. Спор позволил бы хоть ненадолго отвернуться от себя.

Но оставался я. И точное знание о том, кем мог стать и кем согласился стать.

Создатель не делал мою руку неподвижной над задвижкой папки. Её остановил я. Свою способность любить я заставлял служить только тем, кого считал своими. Способность понимать обращал в умение оправдаться. Свободу — в доказательство, что мне никто не указ.

Предавая других, я предавал и то, ради чего был создан. Себя, ещё способного услышать чужую просьбу. Того, от кого получил эту способность.

Я хотел исчезнуть. Даже это желание было прежней попыткой не отвечать.

Потом я захотел, чтобы боль прекратилась. Я перечислял свои проступки с точностью счётчика, ожидая, что за правильным признанием последует избавление. Однако в этом желании всё ещё помещался только я: пусть мне станет легче за то, что я правильно назвал свою вину.

Не знаю, когда возникло другое.

Я вспомнил человека у стола и впервые не стал возвращаться к тому, каким ужасным сделался я в ту минуту. Подумал о нём: куда он пошёл после моего отказа? Успел ли вернуться к тем, за кем пришёл? Я не мог узнать. Не мог помочь. И не мог больше делать его беду лишь обстоятельством собственного суда.

Если бы я снова мог открыть ворота.

Не получить прощение за них. Открыть.

Желание было так просто, что я не нашёл в нём слов.

Никто не произнёс: «Тебе разрешено». Не возникло двери или света. Я не услышал других душ. Пустошь оставалась безмолвной.

Но в какой-то миг у моего существования появилось направление. Невозможно было назвать его стороной или движением. Я только понял: возможность ещё есть.

И испугался сильнее, чем прежде.

Потому что новая жизнь означала новые обстоятельства, которых я не знаю. Новую любовь, которую можно обратить в оправдание. Новый страх, которому можно дать благородное имя.

Я помнил, кто я. Помнил, откуда. Это не означало, что я умею выбирать.

Потом меня стиснуло. У меня впервые снова появились границы. Давление, холод, внезапный простор в груди, обжигающая потребность в воздухе.

Я закричал.

На этот раз меня услышали.

# Глава 2. Слишком старый взгляд



Меня назвали Арсением.

Я услышал имя раньше, чем научился поворачивать голову на голос. Мать произносила его с осторожностью, словно примеряла к новому существу вещь, которую можно испортить неосторожным движением.

У неё было тёплое лицо и очень усталые глаза. Я узнавал её по запаху молока, ткани и мыла. Каждое прикосновение приносило облегчение, к которому я поначалу относился с жадностью. Материальное существование казалось невероятной милостью: можно было проголодаться и насытиться, замёрзнуть и согреться, заплакать и почувствовать руки.

Но тело требовало своего раньше всякого решения. Я мог помнить Создателя и всё равно кричать от боли в животе. Мог понимать материнскую усталость и не уметь прекратить собственный плач. Память души не превращала младенца в маленького взрослого. Моему языку, глазам, рукам предстояло учиться.

Когда я наконец смог говорить, я сказал бабушке:

— Я раньше уже был.

Она вытряхивала в раковину чайные листья. Остановилась с перевёрнутой кружкой.

— Все мы откуда-нибудь взялись, Сеня.

— До этого. Без вас.

Бабушка поставила кружку, вытерла руки и села рядом. Я рассказал, как умел: о тьме, в которой нет глаз, о боли, о том, что нельзя никого позвать. Слова были детскими и делали сказанное похожим на сон.

Она не засмеялась. Только спросила, болит ли у меня что-нибудь сейчас.

Я покачал головой.

— Тогда давай поедим. А если снова захочешь рассказать, расскажешь.

Она не знала, верить ли мне. Позже я понял, какой дорогой подарок получила моя новая жизнь: взрослый, который не обязан понимать, чтобы не унижать.

Отца дома почти не бывало. Он возил товары между городами, возвращался с подарками и непривычно громко двигался по квартире. Я ждал его и боялся. Любовь к человеку не приходит готовой вместе с памятью о Создателе; она растёт из ожидания, обиды, случайной ласки. Мне пришлось научиться любить и этого большого усталого незнакомца.

В шесть лет я впервые осознанно солгал.

Бабушка оставила на краю стола небольшую вазу. От отцовского подарка там лежал кусок яркой упаковочной бумаги. Я захотел выдернуть бумагу одним движением, как показывали по телевизору. Ваза упала.

На вопрос матери я ответил:

— Кот столкнул.

Кот спал у батареи. Мать посмотрела на него и кивнула. Потом села на корточки собирать осколки.

Это была совсем маленькая ложь. Никого не собирались наказывать. Кот не понимал обвинения. Разбитое всё равно нельзя было склеить. Я мгновенно нашёл столько причин промолчать, что испугался их знакомой готовности.

Внутри стало холодно.

Но никакой силы, запрещающей лгать, не появилось. Я мог уйти в комнату. Через неделю все забыли бы о вазе. Я тоже мог бы перестать о ней думать, сохранив при этом всю память о Пустоши.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.